



Януш Корган

КОГДА Я СНОВА СТАНУ МАЛЕНЬКИМ



Януш Корчак

Когда я снова стану маленьким

Серия «Яркая ленточка»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68911536

Когда я снова стану маленьким: Махаон, Азбука-Аттикус; Москва;

2023

ISBN 978-5-389-15569-5

Аннотация

Януш Корчак (1878–1942) – выдающийся польский врач, педагог и писатель. Корчак всю свою жизнь посвятил чужим детям, к которым относился с огромной любовью и заботой. Он открыл в Варшаве дом сирот, в котором жили, учились и воспитывались дети, потерявшие родителей.

Главный герой повести «Когда я снова стану маленьким» – учитель – захотел вернуться в далёкие годы детства, и ему чудесным образом это удалось. Да, он стал мальчиком, но только внешне, внутренне же оставался взрослым человеком, и ему как взрослому это превращение послужило хорошим уроком.

Содержание

Взрослому читателю	5
Юному читателю	7
Это было так	9
Первый день	20
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Януш Корчак

Когда я снова стану маленьким

© Капустина О.Н., иллюстрации, 2023

© Оформление. ООО «Издательская Группа
«Азбука-Аттикус», 2023 Machaon®

* * *

Взрослому читателю



Вы говорите:

– Дети нас утомляют.

Вы правы.

Вы поясняете:

– Надо опускаться до их понятий.

Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься.

Ошибаетесь.

Не от этого мы устаём. А оттого, что надо подниматься до их чувств.

Подниматься, становиться на цыпочки, тянуться.
Чтобы не обидеть.



Юному читателю



В этой повести нет приключений. Повесть эта – психологическая.

Она психологическая не потому, что про псов. Да и пёс-то в ней только один – Пятнашка.

«Психе» – по-гречески значит «душа», а здесь рассказывается о том, что происходит в душе человека: о чём он думает, что чувствует?



Это было так



Лежу я однажды в постели и не сплю. Вспоминаю, как в детстве я часто думал о том, что буду делать, когда вырасту.

Разные у меня были планы.

Вот вырасту большой – построю домик. И сад у меня будет. Посажу в саду деревья разные: груши, яблони, сливы. И цветы. Одни отцветут – распустятся другие.

Накуплю книжек, с картинками и без картинок, лишь бы интересные были.

Красок куплю, цветных карандашей, стану рисовать и раскрашивать. Что увижу, то и нарисую.

Стану за садом ухаживать, беседку построю. Поставлю в ней стол, кресло. Будет она увита диким виноградом. Вернётся отец с работы, пусть в тени посидит. Наденет на носочки, почитает газету.

А мама кур разведёт. И голубятню построим – высоко на

столбе, чтобы кот или другой какой воришка не забрался.

И кролики у нас будут.

Будет у меня сорока, я её говорить научу.

Будет у меня пони и три собаки.

Иногда мне хотелось трёх собак, иногда – четырёх. Я даже знал, как их назову. Нет, всё-таки лучше трёх – каждому по одной. Моя – Бекас, а мама с папой сами имя дадут, какое понравится.

Маме – маленькую комнатную собачку. А захочет кошку – ну, тогда и кошку. Привыкнут, из одной миски станут есть. Собачке красную ленточку, а кошке – голубую.

Как-то раз я даже спросил:

– Мама, красную ленточку кому лучше – собаке или кошке?

А мама сказала:

– Опять штаны порвал.

Я спросил у папы:

– У каждого старичка, когда он сидит, обязательно должна быть скамеечка под ногами?

Папа сказал:

– У каждого ученика должны быть хорошие отметки, и он не должен стоять в углу.

Ну, я и перестал спрашивать. Уж потом всё сам придумывал.

Может быть, собаки будут охотничьи. Пойду на охоту, принесу дичи, маме отдам. А когда-нибудь даже кабана под-

стрелю, но не один – с товарищами. Мои товарищи тогда тоже будут уже большие.

Пойдём с ними купаться. Лодку сделаем. Захотят мама с папой – на лодке их покатаю.

Будет у меня много-много голубей. Стану письма писать и посылать с голубями. Это будут почтовые голуби.

Вот и с коровами так: то, думаю, хватит одной, то – нет, пусть лучше две.

А раз есть корова – значит, и молоко, и масло, и сыр. А куры яичек нанесут.

Потом и ульи заведём. Пчёлы, мёд.

Мама намаринует слив для гостей на всю зиму, повидла наварит.

И лес будет рядом. Уйду в лес на весь день. Захвачу с собой еды и пойду собирать голубику, землянику, бруснику. А осенью – за грибами. Насушим грибов – будут у нас и грибы.

Нарублю дров, мно-о-ого, на всю зиму. Чтоб тепло было.

Колодец надо выкопать глубокий, до родниковой воды.

Но ведь придётся ещё и покупать разные вещи: сапоги, одежду. Отец будет старенький, не сможет много зарабатывать. Мне придётся.

Запрягу лошадь и повезу на рынок овощи, фрукты – всё, что самим не нужно. А что нужно – привезу. Стану торговаться и куплю подешевле.

Или уложу яблоки в корзины и поплыву на корабле в дальние страны. В жарких странах инжир, финики, апельсины, и

они там всем надоели. Вот у меня и купят яблоки. А я у них – их фрукты. Привезу попугая, обезьяну и канарейку.

Я уж теперь и сам не знаю, верил ли я во всё это или нет. Но приятно было всё так выдумывать.

Иногда я даже знал, какая у меня будет лошадь – гнедая или вороная. Увижу какую-нибудь лошадь и думаю: «Вот такая и у меня будет, когда вырасту». Потом увижу другую и думаю: «Нет, лучше вот такая». А то думаю: «Ладно, пусть будут две – и та и эта».

Или возьму да опять придумаю всё совсем по-другому.

Буду учителем. Соберу всех людей и скажу:

– Надо построить хорошую школу, чтобы не было так тесно, чтобы дети не толкались и не наступали друг другу на ноги.

Приходят дети в школу, а я спрашиваю:

– Угадайте, что мы сегодня будем делать?

Один скажет:

– Пойдём на экскурсию.

А другой:

– Диапозитивы будем смотреть.

Кто одно говорит, кто – другое.

А я отвечаю:

– Нет, всё это тоже будет, но есть у нас дело и поважнее.

И только когда все успокоятся, скажу:

– Я вам новую школу построю.

А потом я выдумываю разные препятствия. Будто бы шко-

ла уже почти готова, а тут вдруг стена обвалилась или пожар. Надо всё сначала начинать, но мы назло строим ещё лучше.

У меня всегда всё было с препятствиями. Если плыву на корабле – то буря. Если я полководец – то сперва проигрываю все сражения, и только под конец победа.

Потому что скучно, когда всё с самого начала удаётся.

Ну вот, при школе есть каток, в классах разные картины, карты, приборы, гимнастические снаряды, чучела зверей.

Наступают праздники, а мальчишки и девчонки столпились перед школой и кричат:

– Впустите нас! Не надо нам праздников, хотим в школу ходить!

Сторож их уговаривает, но это не помогает. А я сижу у себя в кабинете и ничего не знаю, потому что пишу разные бумаги... Входит сторож. Постучался и входит.

Он стучится, а я говорю:

– Войдите.

Ну, сторож и говорит:

– Господин учитель, ребятишки бунт подняли, праздников не хотят.

А я отвечаю:

– Не беда, сейчас я их успокою.

Выхожу, посмеиваюсь – не сержусь. Объясняю:

– Праздники так праздники. Учителя должны отдохнуть. Потому что, когда они устают, они сердятся и кричат на детей.



Поговорили мы так и решили: ребята могут приходить иг-

рать во дворе, но за порядком пусть сами следят.

По-разному я думал, что буду делать, когда вырасту.

То думаю: будут у меня только папа с мамой, а в другой раз – пусть и жена будет. Чтобы самим хозяйничать.

Жалко мне с родителями расставаться – вот и живём мы все вместе, только через сени. По одну сторону сеней – родители, по другую – мы с женой. Или пусть лучше будут два домика по соседству. Потому что старые люди любят покой. Чтобы дети не мешали, когда они прилягут после обеда. А то дети всюду носятся, топчут, стучат, кричат.

Только вот не знаю, как мне быть с детьми, кого хотеть: одних мальчишек или ещё и девочку. И как лучше: чтобы мальчик старше всех был или девочка.

Жена, пожалуй, пусть будет такая, как моя мама, а дети – и сам не знаю какие. То ли хочу, чтобы они баловались, то ли чтобы тихие были. И не знаю, что им позволять, чего не позволять. Ну, там чужого не трогать, не курить, не говорить нехороших слов; потом, чтоб не дрались и не очень ссорились.

А что я стану делать, если они подерутся, не захотят слушаться или что-нибудь натворят?

Какие они должны быть – постарше или малыши?

По-разному думаю.

То хочу быть, когда вырасту, как Михал, то как дядя Костек, то как папа.

То хочу стать большим навсегда, то только так, попробо-

вать. Потому что, может быть, поначалу это и приятно, а вдруг потом снова захочется стать маленьким?

Так я думал, думал, пока и в самом деле не вырос. У меня уже есть часы, усы, письменный стол с выдвижными ящиками – всё, как у взрослых. И я в самом деле учитель. И мне нехорошо...

Нехорошо мне.

Дети на уроках не слушаются, и я должен всё время сердиться. Столько всяких огорчений. Отца с матерью уже нет.

Ну ладно.

Начну теперь думать наоборот.

Что бы я сделал, если бы снова стал маленьким? Не совсем маленьким, а таким, чтобы в школу ходить, опять играть с ребятами. Проснуться бы утром и подумать: «Что такое? Уж не снится ли мне всё это?»

Смотрю на свои руки – и удивляюсь. Смотрю на одежду – и удивляюсь. Встакиваю с постели, бегу к зеркалу. Что случилось?

А тут мама спрашивает:

– Встал? Быстро одевайся, а то в школу опоздаешь.

Я хотел бы, если бы снова стал маленьким, помнить, знать и уметь всё, что умею и знаю теперь. Только чтобы никто не догадывался, что я уже был большим. А я как ни в чём не бывало – притворяюсь, будто я такой же мальчик, как все: есть у меня папа и мама, и я хожу в школу. Так было бы всего интересней. А я бы всё подмечал, и было бы так смешно, что

никто ни о чём не догадывается.

Ну так вот, лежу я как-то в постели, не сплю и думаю: «Знал бы, ни за что бы не хотел стать взрослым. Ребёнку во сто раз лучше. Взрослые – несчастные. Неправда, будто они делают что хотят. Нам ещё меньше разрешено, чем детям. У нас больше обязанностей, больше огорчений. Реже весёлые мысли. Мы уже не плачем – это правда, но, пожалуй, лишь потому, что плакать не стоит. Мы только тяжело вздыхаем».

И я вздохнул.

Вздохнул тяжело, глубоко: ничего не поделаешь. Никто ничего не изменит. Никогда уж больше я не буду маленьким.

Но не успел я вздохнуть, как стало темно. Совсем темно. Ничего не вижу. Только дым какой-то. Даже в носу защипало.

Скрипнула дверь. Я вздрогнул. Показался какой-то крошечный огонёк. Как звёздочка.

– Кто это?

А звёздочка движется в темноте – всё ближе и ближе. Вот уже около кровати, вот уже на подушке. Гляжу – а это фонарик. На подушке стоит маленький человечек... На голове у него высокий красный колпак. Седая борода. Гном. Только совсем маленький – с палец.

– Я пришёл.

Гном улыбается, ждёт.

И я улыбнулся. Потому что подумал, что мне это снится. Ведь и взрослому, бывает, приснится детский сон – даже

удивляешься, откуда он взялся.

А гном говорит:

– Ты меня звал, вот я и пришёл. Чего ты хочешь? Только скорей!

Не говорит, а как-то чирикает, тихо-тихо. А я всё слышу и понимаю.

– Ты меня сам вызывал, – говорит, – а теперь не веришь.

И помахивает фонариком: вправо, влево, вправо, влево.

– Ты не веришь, – говорит. – Раньше все люди знали, что бывают чудеса. А теперь в колдунов, гномов и ведьм верят одни дети.

Помахивает фонариком и головой покачивает. А я даже шевельнуться боюсь.

– Ну, назови какое-нибудь желание. Попробуй. Чего тебе стоит?

Я пошевелил губами, чтобы спросить, а он уже догадался, знает.

– Ты меня вызвал Вздохом Тоски. Многие думают, что заклятье – это обязательно слова. Да нет же, нет!

И головой качает – нет, мол... Переступает с ноги на ногу. Смешно так. И фонариком – то вправо, то влево. А я чувствую, что уже засыпаю. И широко раскрываю глаза, чтобы не заснуть. Потому что заснуть мне жалко.

– Вот видишь, – говорит гном, – видишь, какой ты упрямый! Скорей, не то я уйду. Мне долго нельзя оставаться. Потом пожалеешь...

А мне и хочется назвать желание, да не могу. Видно, так уж заведено на свете, что говорить легко, только когда тебе чего-нибудь не особенно хочется, а вот когда чего-нибудь очень хочешь, то трудно.

Вижу, что гном огорчился. Жалко мне его. Но сказать ничего не могу.

– Ну, прощай, – говорит. – А жаль...

И вот он уже уходит. Только тут я быстро прошептал:

– Хочу опять стать маленьким.

Он вернулся, завертелся волчком – и прямо мне в глаза фонариком. И чирикнул что-то, но я не расслышал. Не знаю, как гном ушёл. Только когда я утром проснулся, я всё помнил.

С любопытством оглядываю комнату.

Нет, это мне вовсе не снилось.

Всё правда.



Первый день



Я никому не говорю, что был взрослым, делаю вид, что всегда был мальчиком, и жду, что из этого выйдет. Всё мне как-то странно, смешно. Смотрю и жду.

Жду, когда мама отрежет мне хлеба, будто я сам не могу. Мама спрашивает, сделал ли я уроки. Говорю, что да, сделал, а как на самом деле — не знаю.

Всё как в сказке о Спящей царевне, и даже хуже. Потому что царевна проспала сто лет, но и все спали вместе с ней, а потом вместе с ней проснулись: и повара, и мухи, и вся прислуга, и даже огонь в камине. Проснулись такими же, как были. А я проснулся совсем другим.

Я взглянул на часы и сразу отвернулся, чтобы себя не выдать. А вдруг тот мальчик не умел узнавать время?

Интересно, что будет в школе, каких я там встречу това-

рищей? Заметят они что-нибудь или будут думать, что я уже давно хожу в школу? Странно, что я знаю, в какую мне школу идти, на какой она улице. Знаю даже, что наш класс на втором этаже, а я сижу за четвёртой партой, около окна. А рядом со мной Гаевский.

Иду, размахивая руками, марширую. Лёгким шагом, выспавшийся. Совсем не так, как когда был учителем. Смотрю по сторонам. Ударил рукой по жестяной вывеске. Сам не знаю, зачем я это сделал. Холодно, даже пар изо рта идёт. Нарочно дышу так, чтобы было побольше пара. Мне приходит в голову, что я могу засвистеть как паровоз. И начать пускать пар, и бежать, а не идти. Но я как-то стыжусь. Ну а, собственно, чего? Для того ведь я и хотел снова стать маленьким, чтобы мне было весело.

Но сразу как-то нельзя. Сначала надо ко всему присмотреться.

Идут ученики и ученицы, идут взрослые. Я смотрю, кто из них веселее. И эти идут спокойно, и те спокойно. Понятно: ведь на улице нельзя шалить. Да и не расшевелились ещё. Я – другое дело: ведь я всего один день как стал ребёнком, мне весело.

И как-то странно. Словно я стыжусь чего-то...

Ничего. В первый день так и должно быть. Потом привыкну.

Иду я и вдруг вижу большущий воз. А лошадь никак его с места не сдвинет. Видно, плохо подкована – ноги скользят.

Стоят мальчишки, смотрят. Остановился и я.

«Сдвинет или не сдвинет?»

Растираю уши, топаю, а то ноги мёрзнут – скорей бы уж воз тронулся, тогда бы всё кончилось... А уходить, так ничего и не увидев, жалко. Лошадь, может быть, упадёт, как тогда справится возчик? Если бы я был большой, то прошёл бы равнодушно мимо; наверно, и вовсе бы не заметил. А раз я мальчик, мне всё интересно.

Смотрю, как взрослые то и дело отстраняют нас с дороги, потому что мы им мешаем. И куда они так торопятся?

Ну хорошо. Воз наконец тронулся. И вот я прихожу в школу. Вешаю пальто в своём классе. А там шум. Кто-то говорит, что Висла стала.

– Сегодня ночью.

Другой говорит, что это неправда. Ссорятся. Вернее, не ссорятся, а спорят.

– Видали! Первый мороз, а у него Висла стала! Ну, сало-то, может, и плывёт...

– А вот в том-то и дело, что не плывёт.

– Ладно, хватит чепуху молоть!

Тут и другие ребята вмешались. Взрослый, наверное, сказал бы, что они ссорятся. И правда, один говорит: «Ты дурак!», а другой ему: «Сам балда!» От Вислы перешли к снегу. Выпадет сегодня снег или нет? Раз дым из трубы идёт вверх – значит, снега не будет. И по воробьям можно узнать, будет ли снег. Кто-то говорит, что видел барометр.

И снова:

– Дурак!

– Зато ты умный!

– Врёшь!

– А может, это ты врёшь?

Участие в споре принимают не все. Иные стоят, сами ничего не говорят, а только слушают.

Я тоже слушаю и вспоминаю, что ведь и взрослые в кондитерской часто ссорятся: не из-за снега, а из-за политики. Совершенно так же. И так же говорят:

– Бьюсь об заклад, что президент не примет отставки!

А здесь:

– Бьюсь об заклад, что снега не будет!

Взрослые не говорят «дурак», «врёшь» – спорят повежливей, но тоже шум поднимают.

Стою я, слушаю, а тут влетает Ковальский.

– Эй, ты, примеры решил? Дай списать. У нас вчера гости были. А учительница, может, проверять будет.

Я как ни в чём не бывало раскрываю сумку и смотрю, что делается в тетрадке. Словно она не моя, а другого мальчика, который за меня вчера приготовил уроки.

В это время звонок. А Ковальский не ждёт, когда я ему разрешу, хватает тетрадку и мчится к своей парте. И вдруг мне приходит в голову, что, если он всё перепишет точь-в-точь как у меня, учительница может это заметить и подумает, что это я у него сдул. Ещё в угол меня поставит.

Смешно мне показалось, что я буду в углу стоять.

А Висьневский спрашивает:

– Чего смеёшься?

– Так, вспомнилась одна вещь, – говорю я и продолжаю смеяться.

А он:

– Сумасшедший. Смеётся, а чему, сам не знает.

Я говорю:

– Ничего я не сумасшедший. Может, и знаю, да только тебе говорить не хочу.

А он:

– Скажите какие секреты!

И отошёл обиженный.

Странно, что я знаю, как их всех зовут: ведь я вижу их первый раз, и они меня тоже. Совсем как во сне.

Тут входит учительница, а Ковальский тетрадки не отдал. Я зову шёпотом: «Ковальский, Ковальский!» – а он не слышит или делает вид, что не слышит. Учительница говорит:

– Ты что вертишься? Сиди спокойно.

А я думаю: «Ну вот и заработал в школе первое замечание».

А сижу я беспокойно, потому что тетрадки-то у меня нет. Я спрятался за ученика, который сидит впереди, и жду, что будет.

Боюсь. Неприятно бояться. Если бы я был взрослый, я бы не боялся. Никто бы примеров у меня не списывал. А раз я

ученик и товарищ меня попросил, не мог же я ему отказать. Он бы сразу сказал, что я эгоист, только о себе и думаю. Сказал бы, что я хитрый – хочу, чтобы учительница только меня одного хвалила.

Пожалуй, я буду учиться лучше всех, потому что я ведь уже один раз кончал школу. Правда, позабыл кое-что, но одно дело – вспоминать, а другое – учить заново.

Учительница объясняет грамматическое правило, а я его давно знаю. Учительница велит нам писать, а я раз – и написал. Написал и сижу. Учительница заметила, что я ничего не делаю, спрашивает:

– А ты почему не пишешь?

Я говорю:

– Я уже написал.

– Покажи-ка, что ты там написал, – говорит учительница, и видно, что она раздражена.

Я иду к учительнице и показываю ей тетрадь.

– Да, хорошо, но одну ошибку ты всё-таки сделал.

– Где? – спрашиваю я, словно удивляясь.

Я нарочно сделал ошибку, чтобы учительница не догадалась, что я уже один раз кончал школу.

Учительница говорит:

– Поищи сам, где ошибка. Если бы ты так не спешил, мог бы совсем хорошо написать.

Я возвращаюсь на своё место и делаю вид, что ищу ошибку. Притворяюсь, что очень занят.

Придётся мне выполнять задания помедленней, но только вначале. Потом, когда я уже буду лучшим учеником в классе, учителя привыкнут к тому, что я способный.

Однако я начинаю скучать. Учительница спрашивает:

– Нашёл ошибку?

Я говорю:

– Нашёл.

– Ну-ка покажи.

Учительница говорит: «Да, верно».

И тут звонок.

Звонок – значит, перемена. Передышка. Дежурный выгоняет всех из класса и открывает окна.

А мне что делать? Странно мне показалось, что я буду носиться по двору с мальчишками. Но я пробую, не отстаю от других!

Здорово, весело. Ну и здорово!

Как давно я не бегал!

Когда я был молодым, то пускался даже, бывало, вдогонку за трамваем или поездом. Иногда я дурачился с детьми у знакомых. Делал вид, что хочу их поймать, да не могу – убегают. Это когда я был молодым. Потом уж я не спешил. Ушёл у меня из-под носа трамвай – подожду другого. А когда я в шутку догонял ребёнка, то сделаю несколько шагов и топаю ногами на одном месте. А он-то бежит изо всех сил и только издали оглянётся. Или бежит вокруг меня, описывая большие круги, а я кружусь на одном месте и делаю вид, что

сейчас брошусь в погоню. Он думает, что если бы я захотел, то сразу бы его поймал, потому что я взрослый. А я не могу. Силы-то у меня есть, да сердце сразу стучать начинает. И по лестнице я уже взбирался медленно, и если высоко было, то отдыхал по дороге.

А теперь мчусь так, что ветер в ушах свистит. Я вспотел, но это ничего. Хорошо, весело. Я даже подпрыгнул от радости и крикнул:

– Как здорово быть маленьким!

Но тут же испугался и оглянулся – не слышал ли кто? Ведь могут подумать, что раз я так радуюсь – значит, не всегда был маленьким.

Мчусь так, что только в глазах мелькает. Устал. Но стоит остановиться на минуту, перевести дух – и уже отдохнул, и снова дальше!

Хорошо, что лечу как стрела, не то что раньше – шлёп-шлёп, плетусь еле-еле.

О добрый гном, как я тебе благодарен!

Ведь для детей бег – как верховая езда галопом, «с вихрями споря». Ничего не помнишь, ни о чём не думаешь, ничего не видишь – только жизнь ощущаешь, полноту жизни. Чувствуешь, что в тебе и вокруг тебя воздух.

Догоняешь ли, убегаешь ли – всё равно! Быстрее!

Я упал. Разбил коленку. Больно. Звонок.

Жаль. Ещё бы немножко. Ещё бы минутку.

– Кто скорее, я или ты?

Нога уже не болит. Ветер снова хлещет в глаза, в лицо, в грудь. Снова мчусь стремглав, чтобы быть первым. Чудом не натыкаюсь на ребят, преодолеваю преграды. Порог школы, хватаюсь рукой за перила – и вверх по лестнице. Не оглядываюсь, чувствую, что оставил его далеко позади. Победа!

И со всего размаха в узком коридоре – бац на директора! Директор чуть не упал.

Я видел директора, но остановиться уже не мог. Совсем как машинист, шофёр или вагоновожатый.

В эту минуту я понял, что детей обвиняют несправедливо: они не виноваты – это случай, несчастье, но не вина. Может быть, я и в самом деле утратил сноровку? Боже, столько лет, столько лет!

Я мог бы смешаться с толпой ребят, потому что все бежали. Но ведь я только первый день ученик.

И я как дурак остановился. Даже не сказал: «Простите...» А директор схватил меня за ворот и как встряхнёт! Даже голова у меня заболталась... И такой злой...

– Как тебя зовут, шалопай?

Я замер. Сердце так колотится, что слова выговорить не могу. Он знает, что я не нарочно, – значит, должен простить. Но, с другой стороны, так, с размаху, налететь на директора... Он ведь мог упасть, расшибиться. Я хочу что-нибудь сказать, но язык прилипает к гортани. А директор опять встряхнул меня и кричит:

– Будешь ты отвечать или нет? Я спрашиваю, как твоя фа-

миллиа?

А вокруг уже толпа. Все смотрят. И мне стыдно, что собралось столько народу. Тут как раз учительница проходила, погнала всех в класс. Я один остался. Опустил голову, точно преступник.

– Иди в учительскую!

Я говорю тихо:

– Господин директор, позвольте объяснить.

А директор:

– Ну что там ещё объяснять! Почему сразу не отвечал, когда я фамилию спрашивал?

Я говорю:

– Стыдно было: все стоят, смотрят.

– А носиться как угорелому тебе не стыдно? Придёшь завтра с матерью.

Я заплакал. Слезы сами катятся, как горох. Даже в носу мокро. Директор посмотрел, и, видно, ему меня жалко стало.

– Вот видишь, – говорит, – как плохо баловаться, потом плакать приходится.

Если бы я сейчас извинился, он бы простил. Но мне стыдно просить извинения. Мне хочется сказать: «Накажите меня, пожалуйста, как-нибудь по-другому, зачем маму огорчать». Хочется, да сказать не могу, слёзы мешают.

– Ладно, иди в класс, урок начался.

Я поклонился, иду. В классе опять все смотрят. И учительница смотрит. А Марыльский меня сзади подталкивает:

– Ну что?

Я не отвечаю, а он снова:

– Что он тебе сказал?

Я разозлился. Ну что он пристаёт, какое ему дело?

Учительница говорит:

– Марыльский, прошу не разговаривать.

Наверное, учительнице тоже хотелось, чтобы он оставил меня в покое. Видно, поняла, что у меня горе, – за весь урок ни разу не вызвала.

А я сижу и думаю. Мне о многом надо подумать. Сажу, не слушаю, не знаю даже, про что говорят. А это как раз арифметика.

Ребята подходят к доске, пишут, стирают. Учительница взяла мел и что-то говорит, объясняет. Я хуже глухого. Потому что я и не слышу и не вижу. И даже вида не делаю, что понимаю.

Учительница, наверное, сразу догадалась, что я не слушаю. Должно быть, добрая, другая назло бы вызвала. Теперь я понимаю, почему у детей, когда им что-нибудь одно не удастся, и другое не ладится. Сразу веру в себя теряешь. А должно бы быть так: один накричит, а другой похвалит, ободрит, утешит. Да и надо ли кричать? Сам не знаю... Может быть, надо, а может быть, и нет.

А я как делал, когда был учителем? Разное бывало. Ну хорошо, я налетел на директора, и он схватил меня за шиворот. А что ещё он мог сделать? Разозлился, потом успокоился.

Только вот простил ли?

Сказал: «Иди в класс».

И не знаю, приходить ли мне завтра с мамой или нет.

И вот я думаю: «Всего лишь несколько часов я ребёнок, а как много уже пережил».

Два раза мне пришлось испытать страх: один раз, когда у меня Ковальский тетрадку взял, другой раз – с директором. А ведь с директором это ещё не всё, и я не знаю, как мне быть. Ну и натерпелся же я стыда, когда меня, как вора, за шиворот держали. Взрослого ведь никто не хватает и не трясёт, когда он нечаянно кого-нибудь толкнёт. Правда, взрослые осторожнее ходят, но всё-таки иногда это с ними случается.

Но ведь детям не запрещается бегать?



Странно, что мне никогда это не приходило в голову, когда я был большим.

Всего лишь несколько часов я ребёнок, и уже первые слёзы. Да и теперь, хоть глаза у меня сухие, на сердце обида.

И это ещё не всё. Ведь я и упасть успел. Спускаю чулок, смотрю: кожа на коленке содрана – не в кровь, но больно. Вернее, не больно, а саднит. Сперва я этого и не почувствовал, а теперь, когда сижу вот так, и на душе у меня горько...

Всего только два часа, как я ученик, а учительница уже сделала мне замечание, чтобы я не вертелся и сидел спокойно.

А что было бы, если бы она знала, что я дал списать примеры? Что было бы, если бы она сказала мне: «Повтори»?

Я не слушаю. Ничего не слушаю. А в классе надо не только спокойно сидеть, но и знать, что делается вокруг.

Значит, я и обманщик, и невнимательный, и бегаю точно угорелый, а всё только потому, что я – снова ребёнок. А если так, то, может быть, лучше было оставаться взрослым?

И мне стало жалко ту лошадь, которая не могла сдвинуть воз, потому что была плохо подкована, а воз тяжёлый, и у неё копыта по льду скользили.

Я ещё немного подумал о лошади, потом снова вернулся к своим мыслям.

А было ли мне лучше, когда я был большим? Может быть, директор ещё и простит. По коридору я теперь буду осторожно ходить. Может быть, и в самом деле ночью выпадет

снег? А я так тоскую по снегу, словно он мне брат родной.

Глянул я в окно – солнца не видно, такая метель. Не помню, побились ли они в конце концов об заклад насчёт снега. И я подумал, что в Америке взрослые тоже любят по всякому случаю биться об заклад.

Может быть, дети и в самом деле не так уж сильно отличаются от взрослых?

А за окном туча ещё больше стала, чёрная. И мне пришло в голову: «Ребёнок словно весна. То солнце выглянет – и тогда ясно и очень весело и красиво. То вдруг гроза – блеснёт молния и ударит гром. А взрослые словно всегда в тумане. Тоскливый туман их окружает. Ни больших радостей, ни больших печалей. Всё как-то серо и серьёзно. Ведь я помню. Наша радость и тоска налетают как ураган, а их – еле плетутся».

Это сравнение мне понравилось. Да, если бы даже я и мог снова измениться, я предпочёл бы ещё побыть ребёнком.

И так мне стало хорошо и спокойно, как бывает, когда выйдешь вечером в поле, а ветерок ласково треплет тебя по лицу – словно кто рукой прикоснулся. А на небе звёзды. И всё спит. И запах поля и леса.

Быстро пролетел для меня этот час. Если я опять буду учителем, то никогда не стану вызывать ученика, с которым случилась беда. Пусть подумает, успокоится, отдохнёт.

Я даже вздрогнул, когда раздался звонок.

И тут сразу начали приставать:

– Ты почему плакал? Что тебе директор сказал?

Взрослые не велят драться. Они думают, что мы дерёмся ради удовольствия. Конечно, есть и озорники – мальчишки посильнее, которые задирают слабых. Мы их избегаем, обходим. Но они от этого только ещё больше наглеют. И, когда чаша терпения переполнится, приходится наконец дать им урок. К счастью, таких немного. Они – наше проклятье. И смешно, что из-за них взрослые обвиняют нас всех. Взрослые не знают, что такое задира, а ведь задира и самого тихого может привести в ярость.

Ну, случилась беда. Каждый сам может догадаться, что мне сказал директор, раз я его чуть не опрокинул. Зачем спрашивать: «Что? Как?»

И хоть бы один. А то от одного отвязался, другой подходит – и опять всё сначала. Видит ведь, что не хочу говорить. Я и не знаком-то с ним, почти не разговариваю, – и этот туда же:

– Это ты налетел на директора? Он, наверное, велел тебе с матерью прийти?

Нет, не дадут человеку побыть грустным. Будут лезть, пока из грустного не сделаешься злым.

Первому я отвечаю спокойно. Второму говорю:

– Отстань.

Третьему:

– Отвяжись!

Четвёртого я отталкиваю.

Теперь подходит Висьневский. Утром он говорил, что я сумасшедший, а теперь хочет, чтобы я ему всё рассказал.

– Ну что? Почему ты ревел? Здорово он тебя отругал? Надо было сказать, что тебя толкнули.

– Сам ври, коли хочешь, – говорю я.

И сразу же пожалел об этом.

– Подумаешь, какой правдивый! Глядите, ребята, какой святой нашёлся!..

Я хочу уйти, а он не пускает.

– погоди, куда спешишь?

Идёт рядом и нет-нет, да кулаком в бок.

Я взял да и оттолкнул его. А он ещё пуще разошёлся:

– Не толкайся, школа не твоя. Думает, раз его учительница похвалила, что одну ошибку сделал, так он уж и воображать может.

В первую минуту я даже не понял, что он там мелет. Потом только сообразил.

Я уже подхожу к двери, а он удерживает:

– погоди, куда так торопишься?

Не отпускает.

– Деточка, – говорит. – Наплакалась детусенька. Расплакалась девчущечка.

И грязной лапой меня по лицу.

Я замахнулся. Он сильный, этот Висьневский. Но я до того разозлился, что мне всё равно – будь что будет. Дойди дело до драки, он бы здорово получил.

А что сказал бы директор, если бы случайно проходил мимо? Конечно, что виноват я. Один раз уже попался, а теперь снова. Он меня запомнил. Случись что, сразу вся вина на меня. Потому что я озорник. «Я тебя знаю. Это уже не в первый раз».

Когда я был учителем, я ведь тоже так говорил.

Но тут входит учительница: проверить, все ли вышли из класса.

– Выходите, ребята! Идите побегайте.

А он, бессовестный, ещё жалуется:

– Госпожа учительница, я хотел выйти, а он меня не пускает.

Мне стало до того противно, хоть плюнь.

– Ну, идите, идите!

Он прищурил один глаз, скривил рот, широко расставил ноги и так, кривляясь, вышел из класса. Я за ним.

Во двор я не пошёл. Жду, когда кончится перемена.

Подходит Манек. Посмотрел на меня и говорит тихонько:

– Хочешь, пойдём поиграем?

Я говорю:

– Нет.

Он ещё постоял, посмотрел, не захочу ли я с ним заговорить.

Этот – другое дело. Я ему говорю: так, мол, и так.

– Не знаю, простил или нет.

Манек подумал.

– А ты узнай. Это он со злости сказал. Зайди в учительскую, спроси – наверное, забыл уже.

А потом был урок рисования.

Учительница сказала, чтобы каждый рисовал что хочет: какой-нибудь листок, или зимний пейзаж, или ещё что-нибудь.

Я беру карандаш. Что бы такое нарисовать?

А я рисовать никогда не учился. Когда был большим, тоже не очень-то умел. Вообще в моё время нехорошие были школы. Строгие, скучные. Ничего там не позволяли. Такое всё было чужое, так было холодно и душно, что, когда мне потом снилась школа, я всегда просыпался в холодном поту. И всегда был счастлив, что это сон, а не правда.

– Ты ещё не начинал? – спрашивает учительница.

– Думаю, с чего начать.

А у учительницы светлые волосы и добрая улыбка. Она посмотрела мне в глаза и говорит:

– Ну, думай, может быть, и придумаешь что-нибудь хорошее.

И, сам не знаю почему, я сказал:

– Я нарисую школу – как раньше было.

– А ты откуда знаешь, как было раньше?

– Папа рассказывал.

Пришлось мне солгать.

– Хорошо, – говорит учительница, – это будет очень интересно.

Я думаю: «Выйдет или не выйдет? Ладно, ведь и другие мальчишки не такие уж великие художники».

Рисую я неважно, ну да ничего. Самое худшее – посмеются. Ну и пусть смеются...

Есть такие картины, которые из трёх картин состоят: одна посредине, а две по бокам. Все они разные, но составляют одно целое. Такая картина называется триптих.

Я разделил страницу на три части. Посредине нарисовал перемену. Мальчишки гоняются друг за другом, а один что-то натворил – учитель дерёт его за ухо, он вырывается и плачет.

А учитель его крепко за ухо держит и лупит что есть силы по спине, вроде как бы шпицрутенком. Мальчишка приподнял ногу и словно повис в воздухе. А другие вокруг стоят, головы опустили, ничего не говорят – боятся.

Это посредине.

На картине справа я нарисовал урок – как учитель бьёт ученика линейкой по рукам. Смеётся один только подлиза с первой парты, а другим жалко.

На картине слева – секут настоящими розгами.

Мальчик лежит на скамье, сторож держит его за ноги. А учитель каллиграфии с бородкой поднял вверх руку, в руке – розга.

Такая мрачная картина, точно всё это в тюрьме. Я нарочно сделал тёмный фон.

Сверху я надписал: «Триптих, старая школа».

Когда мне было восемь лет, я ходил в эту школу. Это была моя первая начальная школа, называлась она «Приготовительная».

Помню, одного мальчика высекли. Сёк его учитель каллиграфии. Не знаю только, учителя ли звали Кох, а ученика Новицкий или ученика Кох, а учителя Новицкий.

Я был тогда совсем маленький и ходил в ту школу недолго. Но я вижу всё это так ясно, словно это было вчера.

И вот я рисую. Карандаш так и бежит по бумаге. Мне даже странно.

Головы у учеников получаются маленькие, но я стараюсь, чтобы все они были разные и каждое лицо имело своё выражение. И чтобы все ученики были в разных позах: один облокотился, другой привстал. Себя я тоже нарисовал, но не в первом ряду.

Рисую, а уши у меня так и горят; жарко, и словно кого-то догоняю.

Это я рисовал с вдохновением.

Я ведь был уже один раз взрослым и знаю, что называется вдохновением. У Мицкевича, когда он писал «Импровизацию», было вдохновение.

Вдохновение – это когда трудная работа становится вдруг лёгкой. И тогда очень приятно рисовать, писать, вырезать, что-нибудь мастерить. Всё тогда удаётся, а ты даже и сам не знаешь, как ты это делаешь. Словно всё само собой делается, словно кто-то за тебя работает, а ты только смотришь. А

когда кончишь, удивляешься – точно это не твоя работа. И устал и доволен, что так хорошо получилось.

Когда придёт вдохновение, то не замечаешь даже, что происходит вокруг.

По-моему, дети часто работают с вдохновением, только им мешают.

Например, рассказываешь что-нибудь, или читаешь, или пишешь. Или сразу понял задачу. Даже может выйти какая-нибудь ошибка, но всё равно это не ошибка, или очень маленькая. А тут вдруг прервут, заставят исправить, повторить, что-нибудь ещё прибавят, объяснят. И сразу всё пропало. Ты злишься, тебе уже и продолжать-то не хочется, и ничего не выходит.

Когда у человека вдохновение, никто не имеет права вмешиваться. Потому что тогда он должен быть один, ничего не видеть, не слышать.

Так было и со мной. Учительница стоит у моей парты и смотрит, как я рисую, а я и не замечаю. Знай себе рисую. Тут чёрточку добавлю, там точку, и выходит всё лучше и лучше.

Учительница, наверное, долго так стояла, только я этого не знал.

А я погляжу издали на рисунок и снова что-нибудь подправлю, но всё осторожнее. Потому что, если слишком много поправлять, можно всё испортить. Я устал. И вдруг почувствовал, что на меня смотрят. Поднял голову, а учительница

улыбнулась и погладила меня по щеке.

Я не люблю, когда меня кто-нибудь гладит или ко мне прикасается. Но рука у учительницы прохладная и мягкая. И я тоже улыбнулся.

Учительница спрашивает:

– Откуда ты знаешь, что это триптих?

– Знаю, я на картине видел, на открытке, в костёле.

Я сбиваюсь и краснею всё больше. А учительница спрашивает:

– Можно?

Я подаю ей тетрадку и говорю:

– Пожалуйста.



Учительница смотрит мои старые рисунки и этот, последний. А Висьневский соскочил со своей парты и тоже нос суёт, говорит:

– Триптих.

Я испугался, что учительница начнёт мой рисунок хвалить и всем показывать. Неужели она не понимает, что среди стольких ребят всегда найдётся один завидующий или какой-нибудь шут гороховый, который будет потом приставать да высмеивать? И учительница, видно, поняла это, потому

что велела Висьневскому сесть на место, а мне сказала только:

– Ну, теперь отдохни.

Закрыла тетрадку и осторожно положила передо мной на парту.

Осторожно, аккуратно.

Я сразу же подумал, что если бы я опять стал учителем, то не бросал бы тетрадки на парту, когда неверно написано, не перечёркивал бы жирной чертой, так что чернила брызнут. Я клал бы их так же осторожно, аккуратно, как эта учительница.

Отдыхал я недолго: урок кончился. Мне надо идти в учительскую. Но в дверях учительской стоит директор, и я остановился. И учительница рядом стоит. И сторож подходит...

Я уже два раза начинал: «Пожалуйста, господин директор...», но знаю, что директор не слышит, потому что я говорю тихо. Ужасно неприятно, когда тебе надо что-нибудь сказать, а начать стыдно.

Они разговаривают о каких-то там своих делах, а я даже ничего не слышу. Вдруг директор обращается ко мне:

– Иди в шестой класс и посмотри, там ли глобус. Только быстро, бегом.

И тут только он взглянул на меня и, видно, припомнил, потому что сказал:

– Да смотри не налети на кого-нибудь по дороге!

Прибежал я в шестой класс, а ребята мне кричат:

– Эй, выметайся, чего прилез?

– Глобус у вас?

– Ишь чего захотел!

И выталкивают. Я спешу, а они ещё толкаются. Я вырвался и говорю:

– Директор спрашивает.

А один не расслышал и орёт:

– Ты ещё здесь? Убирайся, щенок, пока цел!

Я не знаю, что делать. Опять кричу:

– Директор!..

– Что – директор?..

– Спрашивает, глобус у вас?

– Ничего у нас нет, понятно?

Стукнул меня по голове и захлопнул дверь перед носом.

Я возвращаюсь к учительской, а что говорить, не знаю.

– Они сказали, что нет.

К счастью, один ученик как раз несёт глобус. И сердится, что опять поломают. Объясниться с директором нет никакой возможности, а откладывать не хочется. И я в отчаянии потянул за рукав учительницу. Не потянул, а слегка только дотронулся и говорю тихонько:

– Госпожа учительница...

А учительница сразу услышала. Отошла со мной в сторону, нагнулась:

– Ты что?

И тут я сказал совсем тихо:

– Попросите, пожалуйста, директора, чтобы он маму не вызывал.

Так тихо сказал, словно на ухо. Неудобно быть маленьким. Всё время надо задира́ть голову... Всё происходит где-то наверху, над тобой. И чувствуешь себя каким-то затерянным, слабым, ничтожным. Может быть, поэтому мы любим стоять около взрослых, когда они сидят, – так мы видим их глаза.

– Почему директор вызывает твою маму?

Мне стыдно сказать. Неприятно рассказывать такую глупость. Я опустил голову, а учительница нагнулась ещё ниже.

– Ведь если я не знаю, я и просить не могу. Ты очень набедокурил?

Я говорю:

– Нет.

Но я и сам не знаю, так ли это.

– Ну, расскажи.

Может быть, мы потому неохотно рассказываем о чём-либо взрослым, что они всегда куда-то торопятся. Всегда кажется, что всё это их не касается, что они просто так скажут что-нибудь, лишь бы отделаться, отвязаться поскорее. Да и правда, у них свои дела, а у нас – свои. Вот мы и стараемся всегда рассказать покороче, чтобы не забивать им голову. Будто наше дело не такое уж важное, пусть только скажут: да или нет.

– Я бежал по коридору. И налетел на директора.

– И ушиб его?

– Нет, только рукой упёрся ему в пузо.

– В живот, – поправила учительница.

И улыбнулась.

А через минуту всё уже было улажено. Я подумал: «Спасибо» – и пошёл в класс. Даже не поклонился. Это, наверное, было невежливо. Да ладно, не важно. Только бы уж опять сесть за парту, только бы поскорее всё это кончилось.

А на последнем уроке учитель читал об эскимосах. Зима у них длится полгода, а дома́ они строят из снега. Такие домики называются «и́глу». Можно и огонь внутри разжигать, но должно быть всегда холодно, а то дом растает.

Когда я был взрослым, я уже знал всё это об эскимосах и, может быть, даже больше. Но мне как-то было не до них. Я даже ни разу не подумал о том, есть ли они на самом деле. Теперь другое дело. Теперь мне их жалко.

Хотя глаза у меня открыты и гляжу я на учителя, я вижу бескрайние ледяные поля – только лёд да снег. Ни одного кустика, ни одного деревца. Ни сосны, ни травинки. Ничего. Только лёд да снег. Потом у них наступает ночь. Ветер, тьма, иногда только северное сияние. И я чувствую этот холод и эту тоску. Бедные эскимосы, холодная у них жизнь! У нас самый бедный, и тот хоть на солнышке может погреться...

Когда учитель читал, так тихо было. Только один раз сзади кто-то зашептал. Учитель даже и не взглянул на него, но мы сразу оглянулись. Если бы и нашёлся дурак, которого бы это не занимало, он не осмелился бы помешать. Пусть бы только

попробовал!

Притихшие ребята так и впились глазами в учителя, даже моргнуть бояться. Наверное, тоже видят перед собой бескрайние ледяные поля.

Жалко, что география была не перед уроком рисования. Я бы тогда лучше нарисовал. Я нарисовал бы глаза ребят. Правда, когда того ученика наказывали розгами, ребята смотрели по-другому. Сейчас в их глазах мечтательное выражение, а тогда был ужас.

Я вынимаю тетрадку для рисования, разглядываю свой триптих и перестаю слушать.

И вдруг в классе поднялся шум. Что такое? Все кричат, спорят. Я не сразу догадался, о чём читал учитель, когда я не слушал. Он, видно, читал про то, как охотятся на моржей и тюленей.

Все задают вопросы. Один хочет знать одно, другой – другое. Даже с мест повскакали. Учитель говорит, чтобы все сели, что он из-за крика ничего не слышит и, пока все не успокоятся, отвечать не будет. А ребята не могут успокоиться, потому что каждому хочется знать всё подробно.

– А хлеб эскимосы едят? А почему они не поедут туда, где теплее? А нельзя им выстроить кирпичные дома? А кто сильнее – морж или лев? А может эскимос замёрзнуть до смерти, если заблудится? А волки там есть? А читать они умеют? А нет ли среди них людоедов? Любят ли они белых? Есть ли у них король? Откуда они берут гвозди для санок?

Один рассказывает, как его дедушка однажды зимой заблудился в поле. Другой – про волков. Каждый кричит, чтобы остальные сидели тихо, потому что он сам хочет сказать или спросить что-нибудь важное.

Если человеку до чего-нибудь нет дела, он может и подождать. А до эскимосов ребятам очень даже есть дело. Ведь они сами минуту назад как бы жили на краю земли, на самом полюсе, и теперь хотят знать, как живут их близкие, знакомые, родственники, которые там остались и которым плохо. Жаждают им помочь.

Когда прежде ссылали в Сибирь политических заключённых и кто-нибудь оттуда возвращался, то матери, сёстры и невесты тоже расспрашивали, какая там жизнь, что они там делают, вернутся ли и когда. Потому что из письма не много можно узнать.

И из книжки не всё узнаешь. Учитель должен ещё раз сам рассказать всё, что ему известно о моржах, о снеге, об оленях, о северном сиянии. А кое-что и повторить. Потому что ребята от волнения не всё слышали.

Для учителя это четвёртый урок, четвёртый час работы в школе, а для класса – вести из далёкого края от дорогих людей. И учитель устал, и мы – только по-разному. И вот нарастает раздражение. С него довольно, а мы хотим ещё!

Учитель почти рассердился. Грозится, что в наказание никогда больше ничего не станет читать.

Никогда!

На минуту стало тише, хотя никто не поверил. Если бы он сказал «всю неделю», а то – никогда. А какой-то дурак начинает паясничать!

– Э, нет, господин учитель не такой злой! Они дураки, что орут, но ребята хорошие!

Как будто и заступается, но сразу видно, что хочет учителя из себя вывести, чтобы скандал вышел. И учитель раскричался. Всегда один такой найдётся. Или ему ни до чего дела нет, и он даже не любит, когда урок интересный, потому что тогда в классе должно быть тихо – ведь все слушают. Или просто назло будет мешать, потому что ему как раз в это время что-то не понравилось.

Учитель уже смотрит, кого бы выгнать из класса, уже взглянул на часы, потому что хочет, чтобы поскорее всё это кончилось. И всем становится неприятно. Даже сам учитель жалеет, что всё так получилось, потому что знает, что слушали его хорошо. И он сдерживается, выдавливая из себя улыбку и говорит:

– Ну, ты там, оратор, повтори, о чём я читал.

Начинается обычный урок: учитель спрашивает, а класс ни бе ни ме. И учитель думает, что мы ничего не знаем, просто глупые ребяташки.

Когда я был большим, чем ближе меня что-нибудь касалось, тем легче мне было об этом говорить. А у детей, как видно, иначе. Если тебя что-нибудь очень волнует, то отвечать трудно, хотя бы ты даже и знал. Дети как будто стыдят-

ся, что скажут не так, как чувствуют.

Урок кончился скучно, и только на перемене мы по-настоящему разговорились об эскимосах. Один запомнил одно, другой – другое. И ребята ссорятся:

– Так учитель читал.

– Неправда!

– Ты, может, проворонил, когда читали?

– Сам ты проворонил!

Призывают свидетелей.

– Правда, учитель читал, что окна делают из льда?

– Правда, ведь тюлень – рыба?

– Ну ладно, спросим учителя!

Наверное, каждый, как и я, задумался в каком-нибудь месте и потом уже не мог догнать. Поэтому каждый помнит что-нибудь своё. И только весь класс вместе знает всё.

Теперь ребята будут играть в эскимосов где-нибудь на лестнице или во дворе и расскажут о них тем, кто не был на уроке, и ещё от себя добавят, чтобы было веселее.

Домой я возвращался с Манеком.

Улица мне теперь кажется необычайно интересной. Всё интересно: и трамвай, и собака, и проходящий мимо солдат, и магазины, и вывески на магазинах. Всё новое, незнакомое, словно только что окрашенное. Не то что незнакомое, потому что я ведь знаю, что это трамвай, но мне ещё хочется знать, чётный у него номер или нечётный.

– Давай отгадывать, какой будет первый трамвай – чётный

или нечётный и меньше или больше сотни?

Солдат – значит, надо посмотреть, какие у него нашивки: пехотинец он или артиллерист.

Мастер возится с телефоном, рабочие чинят канализацию. Ну как не остановиться – может, случится что-нибудь интересное.

Обо всём приходят в голову новые мысли.

Мы встретили много собак. А одна облизала нос языком.

– Собакам не нужно носовых платков, они нос языком облизывают.

Я стараюсь дотянуться языком до носа.

Манек советует:

– Ты нос пальцем прижми.

Я говорю:

– Пальцем – это не фокус.

А он:

– А ты попробуй.

Мимо проходит женщина и говорит:

– Вот глупые, языки повывисывали.

Нам становится стыдно: мы ведь совсем забыли, что мимо люди идут и смотрят.

Если бы эта женщина знала, о чём мы разговариваем, она бы не удивилась, потому что ведь это была проверка, обязательно ли людям нужны носовые платки, насколько длиннее язык у собаки и каково человеку без носа. Мы хотели всё это испробовать, а тому, кто не слышал нашего разговора,

кажется, что мы дураки.

Однажды, когда я был ещё взрослым, я спешил на поезд. А тут ветер поднялся и пыль прямо в лицо. Не знаю, чемодан ли держать или шляпу или лицо заслонять. Я злюсь, спешу, боюсь опоздать, потому что ещё билет купить нужно, а перед кассой может быть давка.

А тут ребята задом наперёд бегут – трое их было. Хохочут, рады, что ветер их подталкивает. Тоже, видно, что-то проверяли. А один мне прямо под ноги. Я хотел посторониться, а он за чемодан зацепился. Я на него прикрикнул – с ума, мол, он, что ли, сошёл, людям мешает. Но ведь и я ему помешал. Кто их там знает, во что они играли, что выдумали! Может быть, он был воздушным шаром или кораблём, а мой чемодан – подводной скалой. Для меня ветер – неприятность, для него – радость!

Когда я был маленьким в первый раз, я любил ходить по улице с закрытыми глазами. Скажу себе: «Пройду десять шагов с закрытыми глазами». А если улица пустая, закрою глаза на двадцать шагов и ни за что раньше не раскрою. Сначала иду быстро, большими шагами, а потом медленнее, осторожнее. Не всегда это удавалось. Один раз я свалился в канаву. Тогда ещё в канавах вода текла; это теперь канализация – каналы и трубы в земле. Так вот, я попал в канаву и вывихнул ногу – целую неделю болела. Дома я ничего не сказал, зачем говорить, если всё равно не поймут?! Скажут, что по улице надо ходить с открытыми глазами. Каждый это и так

знает, но один-то раз можно попробовать.

В другой раз я треснулся лбом о фонарь и набил себе шишку; хорошо ещё, что в шапке был. Если хоть один шаг пойдёт вкривь, то меняется всё направление и тогда уж обязательно или на фонарь налетишь, или на прохожего. Когда на кого-нибудь налетишь, то один только отодвинется и ничего не скажет или пошутит весело, а другой как зверь набросится:

– Ослеп, что ли, не видишь?

И так свирепо посмотрит, словно готов тебя съесть.

Однажды – я тогда был уже большим мальчиком, лет пятнадцать мне было, – иду, а две девчушки догоняют одна другую, боком как-то бегут и прямо на меня. Посторониться было уже поздно, я наклонился, расставил руки – они так боком ко мне и влетели. Глядят испуганно. У одной глаза голубые, у другой – чёрные, смеющиеся. Я минутку попридержал их, чтобы не потерять равновесие. Одна крикнула: «Ой!», а другая сказала: «Простите». Я говорю: «Пожалуйста». И девчушки выпорхнули. Отбежали, оглянулись и смеются. А одна налетела на какую-то даму. И та её так толкнула, что девочка пошатнулась. Грубо так.

Ведь нужны же на свете дети – такие, как они есть.

Я говорю:

– Манек, давай побежим наперегонки с трамваем, а?

Мы стоим как раз около остановки.

– Ладно. Кто скорей – трамвай или мы. До угла.

– До угла.

Сначала это легко, потому что трамвай идёт медленно. Но вот мы уже мчимся по мостовой, рядом с тротуаром, где извозчики ездят.

Помешала пролётка. Мы проиграли.

Он говорит:

– А я первый!

– Это не фокус, у тебя пальто расстёгнуто.

– А тебе кто не велел? Ты тоже мог пальто расстегнуть.

Забыл! Столько лет не бегал наперегонки с трамваем, утратил навыки.

– Ну ладно, – говорю, – давай ещё раз, я тоже расстегнусь.

Но он больше не хочет. Говорит, башмаки рвутся. А мне бы только бежать да бежать. Я рад, что не устаю. Ведь запыхался, и сердце как стучало, а остановился на минутку – и уже отдохнул. От детской усталости не устают.

Говорим о несчастных случаях.

Я сказал:

– В моё время машин не было.

Он взглянул с удивлением:

– Как это – не было?

– Ну не было, – говорю я со злостью: досадно, что у меня так вырвалось.

Остановились у столба с объявлениями.

В кино идёт «Муки любви».

– Ты хотел бы посмотреть?

Манек поморщился:

– Не знаю. Про любовь все картины скучные. Или целуются, или по комнате ходят. Иногда только кто-нибудь выстрелит. Я больше про сыщиков люблю.

– А ты хотел бы быть сыщиком?

– Ещё бы. Гнаться по крышам, через заборы, с браунингом.

Мы читаем цирковую афишу.

– Больше всего я люблю цирк.

Стоим так, болтаем, потом идём дальше.

– А завтра пять уроков.

– Естествознание.

– Хоть бы учительница ещё что-нибудь рассказала про тюленей и про белых медведей.

– А ты хотел бы быть белым медведем?

– Ещё как!

– Да ведь медведи неуклюжие.

– Ничего не неуклюжие, это только так кажется. Но лучше всего быть орлом. Взлетел бы на самую высокую скалу, выше облаков, и сидел бы там, одинокий и гордый.

Иметь крылья куда приятнее, чем летать на самолёте. Известное дело, мотор может сломаться, ангары нужны, бензин, и не везде можно приземлиться. Надо его чистить, потом разбег брать. А крылья, если не летаешь, свернул, и ба-ста.

Если бы у людей были крылья, нужна была бы другая

одежда. На рубашке сзади делали бы отверстия, и крылья держали бы под пиджаком. А может быть, сверху...

Идут двое мальчишек и разговаривают. Те самые, которые минуту назад высовывали языки, чтобы облизать нос, те самые, которые только что бегали наперегонки с трамваем. А теперь они рассуждают о крыльях для человечества.



Взрослые думают, что дети умеют только озорничать и болтать глупости. А на самом деле дети предвосхищают отдалённое будущее, обсуждают его, спорят о нём. Взрослые скажут, что у людей никогда не будет крыльев, а я был взрослым и утверждаю, что у людей могут быть крылья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.